

Том первый

Эту книгу – последнюю написанную мной при жизни незабвенной жены моей Ольги Александровны и при духовном участии ее – с благоговением отдаю ее светлой Памяти.

Ив. ШМЕЛЕВ
22 декабря 1936 г.
Boulogne-sur-Seine

Откровение

Эту чудесную историю — в ней земное сливается с небесным — я слышал от самого Виктора Алексеевича, а заключительные ее главы проходили почти на моих глазах.

Виктор Алексеевич Вейденгаммер происходил из просвещенной семьи, в которой перемешались вероисповедания и крови: мать его была русская, дворянка; отец — из немцев, давно обрусевших и оправославившихся. Фамилия Вейденгаммер упоминается в истории русской словесности: в 30–40-х годах прошлого века в Москве был «благородный пансион» Вейденгаммера, где готовились к университету дети именитых семей, между прочим — И. С. Тургенев. Старик Вейденгаммер был педагог требовательный, но добрый; он напоминал, по рассказам Виктора Алексеевича, Карла Ивановича из «Детства» и «Отрочества»*. Он любил вести со своими питомцами беседы по разным вопросам жизни и науки, для чего имелась у него толстая тетрадь в кожаном переплете, прозванная остряками — «кожаная философия»: беседы были расписаны в ней по дням и месяцам, — своего рода «нравственный календарь». Зимой, например, беседовали о благотворном влиянии сурового климата на волю и характер; Великим по-

* Имеются в виду произведения Л. Н. Толстого. — *Прим. ред.*

стом — о душе, о страстях, о пользе самоограничения; в мае — о влиянии кислорода на организм. В семье хранилось воспоминание, как старик Вейденгаммер заставил раз юного Тургенева ходить в талом снегу по саду, чтобы расходить навалившееся «весеннее онемение». Такому-то систематическому воспитанию подвергся и Виктор Алексеевич. И, по его словам, не без пользы.

Виктор Алексеевич родился в начале сороковых годов. Он был высокого роста, сухощавый, крепкий, брюнет, с открытым, красивым лбом, с мягкими, синими глазами, в которых светилась дума и вспыхивало порой тревогой. Всегда в нем кипели мысли, он легко возбуждался и не мог говорить спокойно.

В детстве он исправно ходил в церковь, говел и соблюдал посты, но лет шестнадцати, прочитав что-то запретное, — Вольтера или Руссо, — решил «все подвергнуть критическому анализу» и увлекся немецкой философией. Резкий переход от «нравственного календаря» к Шеллингу, Гегелю и Канту вряд ли мог дать что-нибудь путное юному уму, но и особо вредного не получилось: просто образовался некий обвал душевный.

— В церкви, в религии я уже не нуждался, — вспоминал о том времени Виктор Алексеевич, — многое представлялось мне наивным, детски-языческим. «Богу — если только Он есть, — надо поклоняться в духе, да в поклонении Бог и не нуждается», — думал я.

И он стал никаким по вере.

Сороковые годы ознаменовались у нас увлечением немецкой философией, шестидесятые — естественными науками. В итоге последнего увлечения — крушение идеализма, освобождение пленной мысли,

бунтарство, нигилизм. Виктор Алексеевич и этому отдал дань.

— Я стал, в некотором смысле, нигилистом, — рассказывал он, — и даже до такой степени, что испытывал как бы сладострастие, когда при мне доходили в спорах до кощунства, до скотского отношения к религии.

В нем нарастала, — по его словам, — «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное... духовно опустошить себя». Он перечитал всех борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей, и испытал как бы хихикающий восторг.

— С той поры «вся эта ерунда», как называл я тогда религию, — рассказывал Виктор Алексеевич, — перестала меня тревожить. Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только — «свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютного» не существует. И вся вселенная — свободная игра материальных сил.

Окончив московское техническое училище, Виктор Алексеевич женился по любви на дочери помещиков-соседей. Пришлось соблюсти порядок и окрутиться у аналая. Скоро и жена стала никакой, поддавшись его влиянию, и тем легче, что и в ее семье склонялись к «свободной игре материальных сил».

— С ней мы решали вопросы: что такое — нравственное? Что есть разврат? Свободная любовь унижает ли нравственную личность или, наоборот, возвышает, освобождая ее от опеки отживших заповедей? И приходили к выводу, что в известных отношениях между женщиной и мужчиной нет ни нравственности, ни разврата, а лишь физиологический закон отбора, зов, которому, как естественному явлению, полезней подчиниться, нежели сопротивляться, что брезгливость и чистоплотность являются верным

регулятором, что отношение к явлениям зависит от наших ощущений, а не от каких-то там «велений». И вот когда то случилось, — рассказывал Виктор Алексеевич, — она... — он никогда не говорил «жена», — она мне с усмешкой бросила: «никакого разврата, а... физиологический закон отбора»... и «зависит от наших настроений»!

Курс он кончил с отличием. Еще студентом, он сделал какие-то открытия в механике, натолкнулся на идею двигателей нового типа, «как бы превосхитил идею двигателей внутреннего сгорания Дизеля».

Первые годы женитьбы он все свободное время сидел за своими чертежами, пытаясь осуществить идею. Жена любила наряды, хотела блистать в свете и блистала, а он, при всей своей страстности к жизни и ее дарам, — «чуть ли не похотливости к жизни», как он откровенно признавался, — вычислял и вычерчивал, уносился в таинственный мир механики, тщась раскрыть еще не разгаданные ее тайны. Его стали томить сомнения: хорошо ли сделал, что стал инженер-механиком, не лучше ли было бы отдаться «механике небесной» — астрономии? Он схватился за астрономию, за астрономическую механику, и ему открылась величественная картина «движений в небе». Он читал дни и ночи, выписывал книги из Германии, и на стенах его кабинета появились огромные синие полотна, на которых крутились белые линии, орбиты, эллипсы... — таинственные пути сил и движений в небе.

А пока отдавался он астрономии, семейная его жизнь ломалась.

Он тогда служил на железной дороге, проходил стаж: ездил и кочегаром, и машинистом, готовясь к службе движения. Как раз в ту пору началась железнодорожная горячка, инженерами дорожили, и ему

открывалась блестящая дорога. И вот, когда он трясся на паровозе и подкидывал дрова в топку или вглядывался в звездами засыпанное небо, и в мыслях его пылали «пути небесные», строго закономерные для него, как пара блестящих рельсов, — семейная его жизнь сгорела.

Вернувшись как-то домой раньше обещанного часа, он увидел это с такой оголенной ясностью, что, не сказав ни слова, — чего ему это стоило! — решительно повернулся и, как был, в промасленной блузе машиниста, так и ушел из дома: здесь ему делать нечего. Снял комнату и послал за вещами и книгами. У него уже было двое детей, погодки. Он написал родителям жены, прося заботиться о детях, — старики Вейденгаммеры уже померли. Родители пробовали мирить, приводили детей, чтобы тронуть «каменное сердце», но он остался неумолим. Жена требовала на содержание и отказалась принять на себя вину. Он даже не ответил, и она написала ему в насмешку: «никакой вины, а просто... закон отбора». Он написал на ее записке — «потаскушка» и отослал. Тем семейная жизнь и завершилась. Он давал детям на воспитание, но потребовал, чтобы жили они у бабушки, и иногда приезжал их поцеловать.

Вскоре он занял видное место на дороге, но скромной жизни не изменил: жил замкнуто, редко даже бывал в театре, — «жил монахом», — и все свободное время отдавал своим чертежам и книгам.

— И вот, — рассказывал он, — что-то мне стало проясняться. Я видел с и лы, направляющие движение тел небесных, разлагал их и складывал, находил точки, откуда они исходят, прокладывал на чертежах силы главного порядка... и видел ясно, что эти новые силы предполагают наличие новых сил. Но и этот новый порядок сил... одним словом, открывались

новые силы, еще, еще... и эти новые, назовем их «еще-силы», необходимо было сложить и свести к единой. Хорошо-с. Но тогда к чему ее-то свести, эту единую?.. И откуда она, этот абсолют, этот исток-сила? Этот исток-сила необъясним никакими гипотезами натурального порядка. А раз так, тогда все законы механики летят, как пыль! Становилось мне все ясней, что тут наше мышление, наши законы-силы оказываются — перед небом! — куцыми. Или же тут особая сверхмеханика, которая в моей голове не умещается. Тут для меня тупик, бездонность Непознаваемого, с прописной «Н» — не знаю, не понимаю, не... принимаю, наконец! Все гипотезы разлетались, как мыльные пузыри. Но как-то мелькнуло мне, озарило и ослепило, как молнией, что я узнаю, увижу... не глазами, не мыслью, а за-глазами, за-мыслью... понимаете, что я хочу сказать?.. — что я найду доказательство особой, как бы вне-пространственно-материальной силы, и тогда станет ясно до осязаемости, что все наши формулы, гипотезы и системы тут — ничто, ошибка пригостишки, сплошное и смехотворное вранье, что все эти «законы» — для Беспредельного — чистейшая чепуха. И удивительно что еще? Да то, что называется «по Сеньке и шапка»: как еще из всей этой чепухи что-то еще мы получаем, какие-то все-таки законцы, и эти законцы относительно даже верны, в пределах пригостительного класса.

Как-то ранней весной, когда уже таял снег и громыхали извозчики, он засиделся за чертежами, докурился до одури. Взглянул на часы — час ночи. Он открыл форточку, чтобы освежиться, и у него закружилась голова. Это прошло сейчас же, и взгляд его обратился к небу. Черная мартовская ночь, небо пылало звездами. Таких ярких, хрустально-ярких, он еще ни-

когда не видел. Он долго смотрел на них, за них, в черную пустоту провалов.

— И такую страшную почувствовал я тоску, — рассказывал он, — такую беспомощность ребячью перед этим бездонным непонятным, перед этим Источником всего: сил, путей, движений!..

Черно-синие бархатные провалы перемежались седыми пятнами, звездным дымом, дыханием звездным, — мириадами солнечных систем. Он беспомощно обводил глазами ночное небо, в глазах наплывали слезы, и ему вдруг открылось...

— Трудно передать словами, что тут случилось со мной, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Прошло лет тридцать, но я как сейчас вижу: все дрогнуло, все небо, со всеми звездами, вспыхнуло взрывами огней, как космический фейерверк, и я увидел бездонность... нет, не бездонность, а... будто все небо разломилось, разодралось, как сверкающая бескрайняя завеса, осыпанная пылающими мирами, и там, в открывшейся пустоте, в не постижимой мыслью бездонной глыби... — крохотный, тихий, постный какой-то огонечек, булабочная головка света, чутошный-чутошный проколик! И в неопределимый миг, в микромиг, не умом я постиг, а чем-то... каким-то... ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим чувством.., — показал он на сердце, — что исследовать надо там, та-ам, в этом проколикке..., но — и это самое оглушающее! — и там-то... опять на-ча-ло, начало только, — все такое же, как и это, только что разломившееся небо! Меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении: дальше уже не лез я, дальше — конец человеческого, предел.

Это был обморок: от переутомления, от перенапряжения мысли и зрения, может быть — от чрезмерного куренья, отдохнувшей в него весенней ночи.

Он увидел себя на полу, лицом в полуосвещенный потолок. В открытую форточку вливался холодный воздух. Он поднялся, совсем разбитый, и поглядел в небо с неопределимо-тревожным чувством. Звезд уже не было: так, кое-где, мерцали, в сквозистой ватке наплывающих облаков. Все было обыкновенное, ночное.

Это был обморок, продолжавшийся очень долго: часы показывали половину второго.

После он вспомнил, что в блеске раздавшегося неба огненно перед ним мелькали какие-то незнакомые «кривые», жи в ы е, друг друга секущие параболы... новые «пути солнц», — новые чертежи небесной его механики. Тут не было ничего чудесного, конечно, — рассуждал он тогда, — а просто — отражение света в мыслях: мыслители видят свои мысли, астрономы — «пути планет», и он, инженер-механик и астроном-механик, мог увидеть небесные чертежи — «пути». Но и еще, иное, увидел он: «бездонную бездну бездн», — иначе и не назвать. И в этом — еще, другое, до осязания внятое всем существом его: тот огонек-проколик, «точку точек», — так в нем определилось, — «предел человеческих пределов, конец, бессилие».

— Со всяким подобное случалось, только без вывода, без «последней точки», — рассказывал Виктор Алексеевич. — Вы лежите на стогу в поле, ночью, и загляделись в небо. И вдруг, звезды зареяли, заполошились, и вы летите в бездонное сверканье. Но что же вышло, какой итог? Я почувствовал пустоту, тщету. И раньше сомнения бывали, но тут я понял, что я ограблен, что я перед этим, как слепой крот, как эта пепельница! Что мои силы, что силы всех ньютонов, лапласов, всех гениев всех веков, до скончания всех веков, — ну, как окурок этот!.. — перед этим «про-

коликом», перед этой булавочной головкой-точкой! Мы дойдем до седьмого неба, выверим и начертим все пути и движения всех до-предельных звезд, вычислим исчислимое, и все же — пепельница, и только. В отношении Тайны, или, как я теперь говорю благоговейно, — Господа-Вседержителя. Вседержителя! Это вот прежнего моего, что я найти-то тщился, занести на свои «скрижали», — Источника сил, из Которого истекает Все. Я почувствовал, что ограблен. Вот подите же, кем-то ограблен! протест! Я, окурок, — тогда-то! — не благоговеею, а проклинаю, готов разодрать сверкающее небо, будто оно ограбило. Не благодарю за то, что было мне откровение, — было мне откровение, я знаю! — а плюю в это небо, до обморока плюю. Теперь я понимаю, что и обморок мой случился не от чего-то, а от этого «оскорбления», когда я в один микромиг постиг, что дальше — нельзязя, конец. И почувствовал пустоту и тоску такую, будто сердце мое сгорело, и там, в опаленной пустоте, только пепел пересыпается. Нет, не сердце сгорело: сердце этой тоской горело, а сгорело вот это.., — показал он на лоб, — чудеснейший инструмент, которым я постигал, силился постигать сверх-все.

После открывшегося ему комната показалась такой давящей, будто закрыли его в гробу, и ему не хватает воздуха. Он забегал по ней, как в клетке, увидел синеющие кальки с путаными на них «путями неба», хотел сорвать со стены и растоптать, и почувствовал приступ сердца — «будто бы раскаленными тисками». Подумал: «Конец? Не страшно».

Он не мог оставаться в комнате и выбежал на воздух. Была глубокая ночь, час третий. Он пошел пустынными переулками. Под ногой лопались с хрустом пленки подмерзших луж, булькало и журчало

по канавкам. Пахло весной, навозцем, отходившей в садах землей. Москва тогда освещалась плохо. Он споткнулся о тумбочку, упал и ссадил об ледышки руку. «По земле-то не умеешь ходить, а...», — с усмешкой подумал он и услышал оклик извозчика: «Нагулялись, барин... прикажите, доставлю... двугривенничек бы, чайку попить». Голос извозчика его обрадовал. Он нашарил какую-то монету и дал извозчику: «На, попей». И услышал за собой: «А что ж не садитесь-то? Ну, покорно благодарим». Это «покорно благодарим» будто теплом обвеяло.

На Тверском бульваре горели редкие фонари-масленки. Ни единой души не попадалось. Он наткнулся на бульварную скамейку, присел и закурил. Овладевшая им тоска не проходила. Все казалось ему ничемным, без выхода: то были цели, а теперь вдруг открылось, что — ни-чего. Кончить?.. сказала в нем, и ему показалось, что это выход. Так же, как в юности, в пору душевной ломки, когда он решил «все пересмотреть критически», когда полюбил первой любовью, и эта любовь его — девочка совсем — в три дня умерла от дифтерита. И, как и тогда, он почувствовал облегчение: выход есть.

На перепутье

*М*артовская ночь, потрясшая Виктора Алексеича видением раскрывшегося неба, стала для него откровением. Но постиг он это лишь по прошествии долгих лет. А тогда, на Тверском бульваре, он был во мраке и тоске невообразимой.

— Стыдно вспомнить, — рассказывал он, — что это «неба содроганье» лишь скользнуло по мне... хлыстом. Какое там откровение! Просто хлестнуло по наиболее большему месту — по пустоте, которая завелась во мне, давно завелась, с самой утраты Бога, и заполнила все во мне, когда лопнуло мое «счастье». Вместо того, чтобы принять «серафима», явившегося мне на перепутье, внять «горний ангелов полет», я только всего и внял, что «гад морских». Закопошились во мне, поддушные, и отравляющей верткой мыслью я истачивал остававшееся во мне живое: «все мираж и самообман, и завтра все то же, то же». Если бы не покончил с собой, наверное заболел бы, нервы мои кончились. Но тут случилось, что случается только в самых что ни на есть романтических романах и — в жизни также.

Он стал представлять себе, не без острого наслаждения, как это будет: не больше минуты, и... спазм дыхания, судороги, и — ничего, мрак. Он знал один кристаллик, как рафинад... если в стакане чаю размешать ложечкой, и — глоток... Когда-то, при нем,

техник Беляев в лаборатории ошибся — не вскрикнул даже. И потом ничего не будет. Эти грязные фонари будут себе гореть, а там... — поглядел он в небо, где проступали звезды, — эти, светлые, будут сиять все так же, пока не потухнут все от каких-то неведомых «законов», и тогда все «пути» закончатся... чтобы начать все снова? И ему стало грустно, что они еще будут, и долго будут, когда его не будет. А вдруг, после того, после «кристаллика», и — откроется? Мысль о «кристаллике» становилась острее, заманчивей. «Ничего не откроется, а... «лопух вырастет». Верно сказал тургеневский Базаров!..» — проговорил он громко, язвительно, и услышал вздох, рядом. Вздрыгнул и поглядел: на самом краю скамейки кто-то сидел, невидный. Кто-то подсел к нему, а он и не заметил. Или — кто-то уже сидел, когда он пришел сюда?

Он стал приглядываться: кажется, женщина... сжавшаяся, в платке... какая-нибудь несчастная, неудачница, — для «удачи» все сроки кончились. Как с извозчиком в переулке, стало ему свободней, будто теплом повеяло, и ему захотелось говорить; но что-то удержало, — пожалуй, еще за «кавалера» примет, и обратится в пошлость, в обычное «угостите папирской». Он испугался этого, поднялся — и сел опять.

— Я вдруг ясно в себе услышал: «не уходи!» — рассказывал Виктор Алексеевич. — Никакого там «голоса», а... жалость. Передалось мне душевное томление жавшейся робко на скамейке, на уголку. Если бы не послушал жалости, «кристаллик» сделал бы свое дело, наверняка.

— Я испугалась, что станут приставать, — много спустя рассказывала Дарья Ивановна, — сидела вся помертвелая. Как они только сели, хотела уйти сейчас, но что-то пристукнуло. У меня мысли путаются,

а тут кавалер бульварный, свое начнет. Встали они — сразу мне стало легче, а они опять сели.

Он закурил — и при свете спички уловил обежавшим взглядом, что сидевшая — в синем платье, в ковровой шали, в голубеньком платочке, и совсем юная. Не мог усмотреть лица: показалось ему, — заплакано. По всему — девушка-мастерица, выбежала как будто наспех.

— Я сразу поняла, что это серьезный барин, — рассказывала Дарья Ивановна, — и им не до пустяков, и очень они расстроены. И сразу они мне понравились. Даже мне беспокойно стало, что они покурят и отойдут.

При первых его словах, чтобы только заговорить, — «А который теперь час, не знаете?» — сидевшая сильно вздрогнула, будто ее толкнули, — это он почувствовал в темноте, не видел, — и не ответила, словно хотела остаться незаметной. Он повторил вопрос насколько возможно мягче, чтобы ее ободрить. Она чуть слышно ответила — «Не знаю-с...» — и вздохнула. По вздоху и по этому робкому «не знаю-с», он почувствовал, что она действительно несчастна, запугана и, кажется, очень юная: голос у ней был как будто детский, светлый. Он почувствовал, как она отодвинулась на край скамейки и даже как будто отвернулась, и понял, что она его боится. Это его расстрогало, и он стал ласково уверять, что бояться ей нечего, если она позволит, он проводит ее домой, а то уж очень поздно и могут ее обидеть... Она неожиданно заплакала. Он растерялся и замолчал. Она плакала всхлипами, по-детски, и старалась укрыться шалью. Он стал ее успокаивать, называл нежно — милая, остро ее жалея, спрашивал, какое у ней горе, или, может быть, кто ее обидел?.. Она продолжала плакать.

— Я сразу поняла, что это особенный господин, — рассказывала Дарья Ивановна об этой «чудесной встрече», о самом светлом, что было в ее жизни до той поры, — и, должно быть, очень несчастный, как и я. Я плакала и от того, что со мной случилось, что некуда мне идти... а мне хоть руки на себя наложить, пойти на Москва-реку, в самое водополье кинуться... выхода мне не виделось. Ждала только, церковь когда откроют, помолиться перед Владычицей. Сидела на лавочке и ждала, все думала — нет мне доли. И от ихней ласки я плакала, жалко себя мне стало.

— Я забыл о своем.., — рассказывал Виктор Алексеевич, — сердце мое расплавилось, и загорелось во мне желание утешить, спасти это юное существо, которому что-то угрожало. Я тогда подумал, что ее обесчестили, растоптали, и я присутствую при живой человеческой трагедии, и в моей власти эту трагедию разрешить. Подумайте: глухая ночь, на Тверском бульваре, и одинокая девушка рыдает! Мог ли я пройти мимо?

Он продолжал успокаивать ее, предлагал проводить ее до дому. Захлебываясь от слез, выдавливая слова толчками, — «совсем, как обиженный ребенок!» — она несвязно выговорила: «У меня... не... куда... идти...» Он сказал, что оставаться ночью на улице ей нельзя, ее заберут в квартал, каждый человек должен иметь хоть какой-нибудь кров, что, наконец, он может нанять ее в прислуги, и ему очень нужна прислуга, он совершенно одинокий, а ему надо по хозяйству, у него служба, книги, и... — пусть только ему поверит, у него никакой задней мысли, и не надо обращать внимания на предрассудки. Он не раздумывал, понятно ли ей все то, что он насаждал так страстно. «А он, именно, «страстно» уговаривал, — вспоминала

Дарья Ивановна, — так уговаривал, что мне думаться стало, и страх на меня напал». Он говорил ей с жаром, с восторгом даже.

— Да, с восторгом!.. — рассказывал Виктор Алексеевич. — Все идеальнейшее, что жило во мне когда-то... — оно никогда и не умирало! — во мне проснулось. Я почувствовал, как во мне оживает отмиравшее, задвленное «анализом», как пустота заполняется... как бы краны какие-то открылись, и хлынуло!.. Заполнилась этой вот незнакомой девушкой, «несчастной», о которой я еще ничего не знал. Плач ее, прерывавшийся детский голос — сказали мне все о ней, а я и не видел ее лица. И тогда же, при этой страстности, я каким-то краешком думал и о своем: «пусть там бездонность и пустота, обман и мираж, а вот живое, и это страдающее живое протестует, вместе со мною протестует против хлада пространств небесных, против немой этой пустоты... создавшей страдающее живое». Мне даже тогда мелькнуло, что эти слезы, этот беспомощный детский всхлип опрокидывают «бездонность» и «хлад», и «пустоту»... что это как-то выходит из чего-то и — и для чего-то. Ну, словом, я почувствовал, что пустота заполняется. Тогда еще я не видел ни ее светлых глаз, ни ее нежного юного лица... голос только ее я слышал, детский, горько жалующийся на жизнь. Ни тени дурной мысли, какого-нибудь пошлого, затаенного намека, что вот, юная девушка... а я мужчина, давно безженный, уговариваю ее пойти ко мне. Только жалость во мне горела и грела душу.

Она перестала плакать, доверилась. Сказала, — «как батюшке на духу сказала, так я уверилась», — что она золотошвейка, от Канителива, с Малой Бронной, с семи лет все золотошвейка, стала уж мастерица, что

определила ее тетка, а теперь сирота она... что Канителиха тоже померла недавно, и теперь от хозяина нет жителя, проходу не дает... всех мастериц на «Вербу» отпустил, на гулянье, а ее оставил, приставать стал... заперлась от него в чулан... до ужина еще вырвалась, в чем была, все сидела-дрожала на бульваре...

Он узнал, что не к кому ей идти, только матушка Агния ее жалеет, монахиня в Страстном, знакомая теткина... лоскутки ей носит, матушке Агнии, а она одеяла шьет... что теперь бы с радостью в монастырь укрылась, и матушка Агния может похлопотать, только все ее деньги у хозяина, семьдесят рублей и паспорт, а монастырь богатый, так не берут, вот она и сколачивала на вклад, двести рублей желает матушка Ираида, казначея... что, может, возьмут за личико, все-таки не урод она... матушка-игуменья с чистым личиком очень охотно принимает, для послушания... и голос у ней напевный, в крылошанки сгодиться может... головщица с правого крылоса матушка Руфина не откажет, матушка Агния попросит... что Святые ворота закрыты, и она ждет заутрени: как ударят — тогда отворят.

Он слушал этот путаный полудетский лепет, в котором еще дрожали слезы, но сквозила и детская надежда, когда она говорила — «матушка Агния попросит». Говорила с особенною лаской, нежно — «А-гния», со вздохом. Он, так же, ласково, невольно перенимая тон, как говорят с детьми взрослые, радуясь, что не случилось «непоправимого», сказал ей, что все устроится, что, «конечно, матушка Агния попросит, и двести рублей найдутся...» — и тут, в стороне Страстного, вправо от них, ударили. «Пускают»... — сказала она робко и встала, чтобы идти на звон. Но он удержал ее:

— Я хочу вам помочь. Вам надо разделаться с хозяином, получить жалованье и паспорт, — сказал он

ей. — Вот моя карточка, я живу тут недалеко. Если что будет нужно, зайдите ко мне, я заявлю в полицию, и...

Она поблагодарила и сказала, что матушка Агния заступится, сходит сама к хозяину.

— Я испугалась, что такой господин так для меня стараются, — рассказывала Дарья Ивановна, — из-за девчонки-золотошвейки, да еще наш хозяин начнет позорить, а он ругатель... и что подумают про меня, что такой господин вступился...

Но он заставил ее взять карточку — мало ли что случится. А Страстной благовестил и звал. Она быстро пошла на рассвете. Он догнал ее и сказал, что дойдет с ней до монастыря, проводит. Она стала просить, чтобы не провожал: «матушка Виринея нехорошо подумает, вратарница...» И тут он ее увидел: смутные, при рассвете, очертания девичьего лица, детские совсем губы, девственно-нежный подбородок, молящие, светлые глаза. На него повеяло с ее бледного, полудетского лица кротостью, чистотой и лаской. Он подумал: «юная, милая какая!» Она поблагодарила его за доброту, — «так обошлись со мной...» — в голосе задрожали слезы, — и пошла через площадь к монастырю. Он стоял у конца бульвара, следил за ней. Рассвет вливался, розовели стены монастыря. Было видно, как в Святые ворота, под синий огонек фонарика-лампады, одиноко вошла она. Он почувствовал возвращавшуюся тоску свою.

Домой... Чтобы вернуть то светлое, что почувствовал он в себе на ночном бульваре, что вдруг пропало, как только она ушла, он перешел площадь и, раздумчиво постояв, вошел в монастырские ворота.

Он узнал широкий настил из плит, — в детстве бывал тут с матерью, — занесенные снегом цветники, и с чувством неловкости и ненужности того, что

делает, вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном. Глубоко впереди, перед смутным иконостасом, теплилась одиноко свечка. Тонкий девичий голос скорбно вычитывал молитвы. Он прислонился к стене и озирался, не понимая, зачем он зашел сюда. И увидал ее: она горячо молилась, на коленях. Тут хорошо запели, — словно пел один нежный, хрустальный голос: пели такое знакомое, забытое... — когда-то и он пел это, в церковном хоре, у Сретенья: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный и одежды не имам, да вниду в онь...». Он слушал, не без волнения, как повторили слева, мысленно пропел сам — «просвети одеяние души моя, Светода-вче...» — рассеянно перекрестился, думая, — «а хорошо, о-чень хорошо», — и под зоркими взглядами монахинь вышел на свежий воздух.

Так, в темную мартовскую ночь, на Тверском бульваре, где поздней порой сталкиваются обычно ищущие невысоких приключений, скрестились пути двух жизней: инженер-механика Виктора Алексеевича Вейденгаммера, 32 лет, и золотошвейки Дарьи Ивановны Королевой, 17 лет. Случилось это в ночь на Великий Понедельник.

Искушение

Эта ночная встреча на Тверском бульваре стала для Виктора Алексеевича переломом жизни. Много спустя, перед еще более важным переломом, он признал в этом «некую, благостно направляющую Руку». Но в то раннее мартовское утро, на Страстной площади, случившееся представилось ему только забавным приключением. Смешным даже показалось, как это он разыграл романтика: утешал на бульваре незнакомую девицу, растрогался, проводил до святой обители, для чего-то и сам вошел, постоял у заутрени и даже не без волнения взглядом искал ее в полумраке храма, — совсем, как герой Марлинского или Карамзина. Но за усмешкой над «несчастливым героем нашим» была и мимолетная грусть, что милое это личико больше ему не встретится.

И вот что еще случилось.

Выйдя на площадь, освещенную ранним солнцем, розовую, «весеннюю» — так и назвал тогда, — он почувствовал небывалую легкость, радостное и благостное, позабытое в юных днях, — «розовый свет какой-то, освобождение от каких-то пут, как бы душевное выпрямление». Мысль о «кристаллике», казавшаяся ему ночью выходом, теперь представлялась совершенно дикой. Мало того: началось сразу, и очень бурно, совсем иное.

— Специалисты, — невропатологи или физиологи... — разберутся в этом по-своему... — рассказывал Виктор Алексеевич. — Стыдно вспомнить, со мной овладело бурное чувство вожделения. Теперь я знаю, — и не только по «житиям», — что нечто подобное бывает с иноками, с подвижниками даже, и заметьте: во время сильнейшего душевного напряжения, когда все в них «вознесено горé», когда они предстоят перед наисвященнейшим, так сказать... и вдруг — «бесовское наваждение», бурное вожделение, картины великого соблазна. Люди духовного опыта это знают. Бывало со мной и раньше нечто похожее: после большой умственной работы, экзаменов, например, когда тело изнемогло, — в недрах, как бы в протест, начинается будораженье, раздражение «темных клеток», должно быть, смежных со «светлыми». Я тогда так и объяснял, увлеченный работой Сеченова — «Рефлексы головного мозга». То же бывает после радений у сектантов. И вот, в то утро, после величественного «Чертога»... — и тогда мне, неверу, ни к а к о му, этот тропарь показался проникновеннейшим: «просвети одеяние души моя, Светодавче!»... — после целомудреннейших, хрустальных голосов юниц чистых, курений ладанных, я почувствовал бурный прилив хотений. Не сразу, правда. Сперва — восторг, так сказать, пейзажный: из-за монастыря, влево от меня, за голыми деревьями бульвара, над где-то там Трубной площадью, местом довольно «злачным», заметьте это... розовым шаром — солнце, первовесеннее. Воздух!.. розовый воздух, розовый монастырь, розовые облачка, огнисто-розовые дома, розоватый ледок на лужах, золотистый навоз, подмерзший, но раздражающе-остро пахнущий. Ледок... в кружевцах ледок, в кружевных пленочках-иголках, и под ними

журчит водичка, первовесенняя. Увидал эти лужи-пленки, и как мальчишка, давай похрустывать и смотреть, как из дырок свистят фонтанчики. Страстную радость жизни почувствовал, всеми недрами... и меня вдруг осыпал-защекотал какой-то особенно задорный, трескучий щебет откуда-то налетевших воробьев.

В таком розовом настроении он проходил по площади, и его чуть не сшибла мчавшаяся коляска с офицерами и девицей: мелькнули золотые эполеты, играющий женский голос задорно крикнул — «гутмоэн-майн-киндхен!», — блеснула крахмальная оборка юбки. Его кинуло в жар от этого лета и голоса. Захотелось курить, но спичек не было, — оставил, пожалуй, на скамейке. Он пошел бульваром, размашисто, распахнув пальто, — стало вдруг очень жарко. Издали увидал скамейку, подумал — не она ли? — и угадал: валялась под ней коробка серничков. Он сел, с жадностью закурил, и тут началось «искушение», — бурный наплыв хотений.

— Таких бурных, — рассказывал Виктор Алексеевич, — никогда еще не бывало... и в самых кошунственных подробностях, которыми я разжигал себя. И в центре всего этого омерзительного сора был этот чудесный монастырь с его благостной лепотой, с голосами юниц, и с той, которую я только что «спасал», а теперь... мысленно растлевал.

Он вызывал в мечтах милое личико, полудетское, нежное, бледное в наливавшемся рассвете, и трогательный голос, в котором теперь звучало глубокое-грудное, задорное, как крик промелькнувшей немки. Тут же припуталась и белая оборка юбки, и синее платье, обтягивавшее ноги, и темные кудряшки, выбившиеся прядкой из-под платочка, и серые глаза в испуге, и по-детски раскрытый, беспомощный и растерянный,

бледный рот, с чуть отвисавшей губкой. Эта беспомощность и растерянность привлекали его особенно. Ему представлялась такая возможная, но — досадно — неосуществившаяся картина: он уговаривает ее пойти с ним, и она растерянно готова, и вот они идут, в расвете... и она остается у него. Он досадовал на себя, что поступил необдуманно, не отговорил ее от этой прикрытой благочестием кабалы, от даровой работы на ту-неядок, на этих чернохвостниц, важно пожевывающих губами матушек, игумений, казначей. Припоминал рассказы-анекдоты о столичном монастыре у веселого бульвара, о миловидных послушницах и клирошанках, которых настоятельницы-ловкачки отпускают на ночь к жертвователям-купцам и всяким там власть имущим. И он, в сущности, сам толкнул юную, чистую девушку в эту яму, сказав, что двести рублей для вступления в монастырь найдутся. Возьмут ее с радостью, конечно... за одно золотошвейное мастерство, помимо всего другого... — хорошенькая, глаза какие! — там это нужно для всех этих пустяков-прикрытий, — для «воздухов», покровов, хоругвей, чего там еще!.. — а в свободный часок будут отпускать напрокат, «во славу святой обители».

— Такие и еще более растлевающие мысли меня сжигали, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Я, человек культурный, нес всю эту — убедительную для меня тогда — чушь. Мне хотелось просто и меть эту беззащитную, но это хотение я старался прикрыть от таившегося во мне надсмотрщика. А хотение напирало, и я напредставлял себе, как веду ее, как она нерешительна, но потом, шаг за шагом... Даже утренний чай представил, с горячими калачами, и рюмочкой портвейнца... — тут же у гастрономщика Андреева, против генерал-губернатора, прихватить икорки, сы-

ру швейцарского, тяну-чек... — непременно тянучек, они очень тянучки любят, такие полудети, — фисташек и миндальных тоже, — все до точности расписал. И как она будет ошеломлена всей этой роскошью, как будет благодарна за спасение, и... Словом, я уже не мог сидеть спокойно. Наворачивать раздражающего мне уже было мало. Я даже позабыл, что к десяти мне надо в депо на службу, проверять паровозы из ремонта.

В таком состоянии одержимости он направился дальше по бульвару. Было еще безлюдно, а ему хотелось какой-нибудь подходящей встречи. Поднявшееся в нем темное закрыло чудесное розовое утро, и его раздражало, что бульвар пуст, что нет на нем ни вертлявых весенних модниц, ни жеманных немочек-гувернанток, ни даже молодых горничных или модисток, шустро перебирающих ногами, подхватив развевающийся подол. Дойдя до конца бульвара, он опять повернул к Страстному и увидел монастырь с пятью сине-золотыми главками за колокольной. Эти главки жгли его колким блеском сквозных крестов, скрытым под ними ханжеством. Дразнила мысль — зайти как-нибудь еще, послушать миловидных клирошанок, бледноликих и восковых, в бархатных, франтоватых, куколях-колпачках. Это казалось таким пикантным: «как траурные институтки». Казалось, что все может легко осуществиться: у ней есть карточка, она может прийти к нему, попросить насчет паспорта или просто поблагодарить за участие... — «как обошлись со мной!» — можно уговорить, и она останется у него. Все казалось теперь возможным. Он спустился Страстным бульваром, постоял нерешительно у Петровских ворот и пошел вниз, к Трубе. На бульваре попалась ему бежавшая с калачами горничная, и он посмотрел ей вслед, на ее бойкие, в белых чулочках, ноги. На

Трубной площади, у «греховного» «Эрмитажа», стоял только один лихач. Он поманил его, даже не думая, куда и зачем поехать, но лихач почему-то отмахнулся.

С того утра началась угарная полоса блужданий, удачных и безразличных встреч. И во всех этих встречах и блужданиях дразнило и обжигало неотступно, — «как зов какой-то», — казалось бы, уже потускневшее, как бы виденное во сне под сине-золотыми главками, за розовыми стенами, — милое личико под куколем. В блужданиях, ставших теперь обычными, средоточием оставался монастырь. Виктор Алексеевич, «как одержимый, в дрожи», приходил слушать пение, разглядывал милостивых клирошанок, но ее не видал ни разу. Были из них красивые, и все были затаенно-скромны. «Из приличия» он давал на свечи и даже снискал благоволение старушки-свешницы, которая уважительно ему кланялась и всегда спрашивала: «Кому поставить накажете-с?» Но за три месяца так и не решился спросить у ней, здесь ли послушница Даша Королева.

— Я кружился у монастыря, — рассказывал Виктор Алексеевич, — как лермонтовский Демон, и посмеивался — язвил себя. И чем больше кружил, тем больше разжигался. Тут столкнулись и наваждение, и... как бы при-вождение. Меня в е л о . Иначе нельзя и объяснить того, что со мной случилось. И вот, когда я почувствовал, что так дальше не может продолжаться, — я отказался от перевода в Орел с значительным продвижением по службе, стал запускать работу, и нервы мои расстроились невероятно, — я наконец решился.

В душный июльский вечер, когда даже на бульварах нечем было дышать, он вдруг почувствовал мучительную тоску, такую же безысходную, как в памятную мартовскую ночь, когда с облегчением думал о «кристаллике». Это случилось на бульваре. Он по-

шел обычной дорогой — к монастырю. Было часов шесть, ворот еще не запирали. Совсем не думая, что из этого может выйти, он спросил сидевшую, как всегда, у столика с оловянной тарелочкой пожилую монахиню, можно ли ему повидать «матушку Агнию». Старушка приветливо и даже с поклонами сказала, что сейчас вызовет привратную белицу*, она и проводит к матушке. И позвонила в сторожевой. Этот «зовущий» колокол отозвался в сердце Виктора Алексеевича звоном «пугающим и важным»: «н а ч а л о с ь», — так и подумал он. А старушка допрашивала, не родственничек ли будет матушке Агнии: «она у нас из хорошего звания, дочка 2-ой гильдии московского купца была, из Таганки... пряниками торговали». Привратная белица повела его в дальний корпус, мимо густо-пахучих цветников, полных петуний и резеды; белицы, во всем белом, их поливали молча.

В глубокой, благостной тишине, в запахе цветов, показавшемся ему целомудренным и благодатным, в робких и затаенных взглядах из-под напущенных на глаза белых платков трудившихся над цветами белиц, в шорохе поливавших струек, в верезге ласточек, в дремлющих на скамьях старушках, — во всем почувствовался ему «мир иной». Тут, впервые, он ощутил неуловимо-бегло, что «эта жизнь имеет право на бытие», что она «чувствует и поет молчанием».

— Я ощутил, вдруг, боясь и стыдясь додумывать, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что все эти девушки и старухи в ы ш е меня и чище, глубже... что я забрался сюда, как враг. Я тогда в самом деле почувствовал себя темным... нечистым себя почувствовал. Я старался

* Белицы — живущие в монастыре, но еще не постриженные в монашество. — *Прим. ред.*

прятать глаза, словно боялся, что эти, чистые, все узнают и крестом преградят дорогу. Но при этом было во мне и поджигающее, «бесовское», что вот, мол, я, демон-искуситель, переступлю! Некое романтическое ухарство. И — присутствие силы, которая ведет меня, и я бессилён сопротивляться ей.

«Переступал», а ноги дрожали и слабели. Он кланялся вежливо особенно почтенным старицам, недвижно сидевшим с клюшками. Властный голос спросил белицу: «Не к матери ли Ираиде?» — и белица ответила, склонившись: «К матушке Агнии, сродственник». Вот уж и ложь; но — «началось», и теперь будет продолжаться. В прохладном каменном коридоре белица тихонько постучала, пропела тоненько «входное», и Виктор Алексеевич получил разрешение войти.

Он увидел высокое окно в саде, наполовину завешанное полотняной шторой, а у окна на стуле сухенькую старушку, торопливо повязывавшуюся платочком. Старушка, видимо, только что читала: лежала толстая книга и на ней серебряные очки. Были большие образа и ширмы, и обвитая комнатным виноградом арка в другой покой. Старушка извинилась, что встать не может, ноги не слушают, предложила сесть и спросила: «От какого же родственника изволите вы пожаловать?» Спросила об имени и отчестве. Он смотрел на нее смущенно: такая она была простая, ясная, ласковая, доверчивая.

— Я растерялся, — рассказывал Виктор Алексеевич, — смотрел на нее, будто просил прощения, и чувствовал, что матушка Агния все простит. И тут же сообразил, что вполне естественно мне спросить: старушка такая и не подумает ничего худого, совсем она простосердая... такую всегда обманешь. «Началось» — надо продолжать.

И он спокойно, даже деловито сказал, в чем дело... что его интересует участь несчастной девушки, и надо бы ему раньше, но по делам был в отлучке и запоздал. Старушка выслушала, ласково поглядела, улыбнулась, и засияло ее лицо. Она обернулась к арке, в другой покойчик, и сказала, как бы показывая туда:

– А как же, батюшка... со мной живет, вон она, сероглазая-то моя!

Эти простые слова показались ему «громом и молнией»: ослепило его и оглушило. Он даже встал и поклонился матушке Агнии. Но она приняла это совсем спокойно, сказала: «Зачем же благодарите, батюшка... сирота она, и я ее тетку знала, а золотые руки-то какие... такую-то каждый монастырь примет, да еще порадует. И не благодарите, батюшка... и матушка-игуменья рада. Мы бы давно к вам пришли, да ноги не пускают... велела ей, сколько раз говорила — пошли хоть письмецо доброму барину, поблагодари, а она... совестливая такая, стесняющая, боялась все — «нука, они обидятся». — «Ну вот, Дашенька, а теперь сам барин пришли справляться... хорошо разве, человека такого беспокоим!» — сказала старушка в другой покой, а Виктор Алексеевич сидел и мучился — теперь уже другим мучился: и таких-то — обманывать!

– Будто случилось чудо, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Простые слова, самые ходячие слова сказала матушка Агния, но эти слова осветили всего меня, всю мерзость мою показали мне. Передо мной была чистота, подлинный человек, по образу Божию, а я — извращенный облик этого «человека», и я с ужасом... с у-жасом ощутил бездну падения своего. То, темное, вырвалось из меня, — будто оно сидело во мне, как что-то, отделимое от меня, вошедшее в меня через наваждение. Оно томило меня, и вот, как «бес

от креста», испарилось от этих душевных слов. Ну-да, физиологи, психологи... они объяснят, и по-своему они правы... но и я, в своих ощущениях, тоже прав: темная сила меня оставила. А ведь я шел на грех, — ну, «греха» тогда я не признавал, — на низость, если угодно, шел, на обман. Обмануть эту Агнию... человеческую овечку эту, выведать про девицу и эту девицу совратить, сманить, обманно вытащить ее из-за этих стен, увлечь, голову ей вскружить и оставить для себя, пока она мне нужна... а там..! Не задумывался, что будет «там». И — сразу перевернулось на иное...

А вышло так. Старушка не раз выкликала Дашеньку, но та только робко, чуть слышно, «как ветерок», отвечала: «Я сейчас, матушка». Он ожидал смущенно, раздавленный всей этой чистотой и ясностью, а матушка Агния, благодушно мигая, как делают, когда говорят о детях, поведала шепотком, что она стыдится такого господина, глаз показать боится... «А уж как она про вас... редкий день не помянет... “Господь мне послал такого святого господина”, — так все и поминает. Она и в обитель-то к нам боялась тогда, как тоже поглядят... ну-ка, побрезгуем, не поверим, матушка-то игуменья стро-гая у нас, ни-ни... ну-ка, какое недоумение с квартальным или там девичье обстояние, — вот и боялась. А вы, как ангел-хранитель были, наставили ее про обитель, она и укрепилась. Разобрали дело, послали письмо квартальному, а нас он уважает, — с Канителева и истребовали пачпорт. А она — золотые руки, и голосок напевный, скоро и в крылошанки благословится, на послушание певное... стихирки со мной поет, живая канареечка».

Он слушал воркующий шепоток, и тут появилась Дашенька. Она не вошла в покой, а остановилась под виноградом, молвив послушливо: «Что, матушка, угодно?»

— В этот миг все для меня решилось, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Это была не та, какую, темный, вожделием рисовал себе. Передо мной была осветленная, возносящая красота. Не красота... это грубое слово тут, а прелестная девичья чистота... юница, воистину непорочная. Большие, светлые, именно — осветляющие, звездистые, глаза... такие встречаются необычайно редко. В них не было тревожного вопрошания, как тогда: они кротко и ласково светили. Раз всего на меня взглянула, осияла и отвела. И я понял, что отныне жизнь моя — в ней, или все кончится.

Матушка Агния сказала: «Ну, сероглазая моя, подойди поближе, не укусят». Она подошла ближе и сказала, кланяясь чинно, как белица: «Благодарю вас покорно, барин». Он поднялся и поклонился ей молча, как перед тем поклонился матушке Агнии: исходившему от ее свету поклонился.

— Теперь это мне ясно, — вспоминал Виктор Алексеевич, — я поклонился пути, по которому она повела меня...

Он сказал, обращаясь к матушке Агнии, что он очень рад, что благой случай устроил все. Старушка поправила: «Не случай, батюшка, а Божие произволение... а случай, — и слово-то не подходящее нам...» — и улыбнулась ласково.

Он «в последний раз», — казалось ему тогда, — оглянул белицу, от повязанного вокруг белого платочка с ясной полоской лба, от сияющих глаз, от детски-пухлого рта, по стройному стану, в белом, все закрывающем одеянии, до земли. Поклонился и вышел, провожаемый добрым взглядом и словами матушки Агнии, спохватившейся: «Да проводи ты, чего замаялась... как бы они не заплутали».

Не было слышно шагов за ним.

Трехопадение

По рассказам Виктора Алексеевича и по «смертной записке к ближним» Дарьи Ивановны, эта июльская встреча в келье матушки Агнии осталась для них благословеннейшим часом жизни. С этого часа-мига для него началось «высвобождение из потемок», для нее — «греховное счастье, страданием искупаемое».

Выйдя из монастырских ворот на Тверской бульвар, Виктор Алексеевич даже и не заметил ни многолюдства, ни «черной ночи», вдруг свалившейся на Москву: от Триумфальных ворот, с заката, катилась туча, заваливая все отсветы потухающей зари, все небесные щели, откуда еще, казалось, текла прохлада; сдавила и высосала воздух и затопляющим ливнем погнала пеструю толпу, устрашая огнем и грохотом. Виктор Алексеевич стоял на пустом бульваре, насквозь промокший, сняв свою майскую фуражку и с чего-то размахивая ею, — «приветствовал Божий гром».

— Я тогда все приветствовал, словно впервые видел, — рассказывал он: — монастырь, розовато вспыхивавший из тьмы, бившие в кресты молнии. Я был блаженно счастлив. Все изменилось вдруг, получило чудесный смысл, какой, — я не понимал еще, но... великий и важный смысл. Будто сразу прозрел душевно... не отшибком себя почувствовал, как это было раньше, а связанным со всем... с Божьим громом, с горящими крестами, с лужами даже, с плавающими в них листьями. Озарило всего меня, и сокровен-

ная тайна бытия вдруг открылась на миг какой-то, и все определилось, представилось непреложно-нужным, осмысленным и живым, в свято-премудром Плане, — в «Живой Механике», а не в «игре явлений»... иначе не могу и выразить: и этот страшший гром, и освежающий ливень, и монастырь у «веселого» бульвара, и кроткая матушка Агния, и — она, девичья чистота и прелесть. Смело, смело грозой всю мою духоту-истому, от которой хотел избавиться, и я почувствовал ликование — все обнять!

Это желание «обнять мир» вышло не от избытка духовности, как у Дамаскина или Франциска Ассизского, а из родственного сему, — из светлого озарения любовью.

— С той встречи, с того видения в келье, с той освежительной грозы я полюбил впервые, — рассказывал Виктор Алексеевич, — хотя я любил и раньше. Но те любимые не озаряли душу. Да что же это?! Она, простая девушка, монастырка, не сказала мне и двух слов, ничего я о ней не знал, и вот... только звук ее голоса, грудного, несказанная чистота ее, внятая мною вдруг, и эти глаза ее, кроткий и лучезарный свет в них... очаровали меня, пленили и повели. И, не рассуждая, я вдруг почувствовал, что именно в этом моем очаровании и есть смысл, какая-то бесконечно-малая часть того Смысла, который я ощутил в грозу, — в связанности моей со всем.

С того июльского вечера начались для Виктора Алексеевича мучения любовью и в мучениях — «духовное прорастание». А для Дарьи Ивановны было совсем иное. В оставленной ею «смертной» значилось так:

«Сердце во мне сомлело, только его голос услышала. И тут почудилось мне, что это моя судьба, великая радость-счастье, и большое горе, и страшный грех.

Я побоялась показаться, а сами руки стали повязывать платочек. А зеркальца не было, и я к ведерку нагнулась, только что воды принесла цветочки полить — жара была. Взглянула на Страстную Матерь Божию и подумала в сердце, будто Пречистая мне велит: «все прими, испей». И вот, испила, пью до сего дня. Сколько мне счастья было, и сколько же мне страдания. А как вышла и увидала лицо его, и глаза, ласковые ко мне, тут я и отнялась вся и предалась ему. И такая стала бессильная, что вот возьми меня за руку, и я ушла бы с ним и все оставила».

И через страницы, дальше:

«Тогда томление во мне стало греховное, и он приходил ко мне в мечтаниях. А молитвы только шептались и не грели сердце».

А для него началось «горенье вдохновенное». Его оставили темные помышления, и он одного хотел: видеть ее всегда, только хотя бы видеть. Ему предложили уже не Орел, а Петербург: его начальник, очень его ценивший, был назначен по Главному Управлению и тянул с собой. Но он отказался, «сломал карьеру».

С того грозового вечера кончились его встречи на бульварах, прогулки на лихачах, с заездами на Ямскую и в укромные норки «Эрмитажа». Все это отступило перед прелестной девичьей чистотой, перед освещающими, лучистыми глазами. Это была самая чистая, благоуханная пора любви, даже и не любви, а «какого-то восхищения всем, меня окружавшим, над которым была она, за монастырской стеной, уже почти отрешенная от мира, как бы уже *н а з н а ч е н н а я*. Он не думал, что она может стать для него доступной. Он перечитал — что-то его толкнуло — «Дворянское гнездо», и вот, Лиза Калитина чем-то напомнила ему Дариньку, — в мыслях так называл ее. Он припоминал все, что

случилось в келье, даже как прыгали семечки и брызги из клетки с чижиком, и как одно зернышко упало на белый платочек Дариньки, и она повела глазами. И чайную чашку вспомнил, с синью и золотцем, «В день Ангела», и веточку синего изюмца. И огромные пальцы у изразцовой печи, с голубым атласным одеялом, «для новобрачающихся», — сказала матушка Агния.

Он признал благовест Страстного и таил от себя, что ждет его каждую субботу. Заслышав тягучий зов, он шел на Тверской бульвар, бродил до сумерек и незаметно оказывался в толпе молящихся. Ему уже кланялись монахини и особенно низко — свешница с блюдом, когда он совал смущенно рублевую бумажку. Раз даже увидел сидевшую в уголке, с четками, кроткую матушку Агнию и почтительно поклонился ей, и она тоже поклонилась. Не без волнения слушал напевные голоса милоликих клирошанок, стараясь признать знакомый.

И вот, глубокой зимой, когда помело метелью, за всюнощной под Николин день, потянулись для величания с клиросов, и в перервавшем дыхании восторге он увидел, наконец, ее. Шла она от правого клироса за головщицей, высокой, строгой, с каменно-восковым лицом, манатейной монахиней Руфиной. Другая она была, не та, какую увидел на рассвете, детски-испуганную... и не та, осветленная, с осиявшими его лучезарными глазами. Траурная была она: в бархатном куколке-колпачке, отороченном бархатной, в мелкой волне, каемкой, выделявшем бледное, восковое, прозрачное лицо, на котором светились звездно, от сотни свечей-налепок, восторженно-праздничные глаза. Лицо ее показалось ему одухотворенным и бесконечно милым, чудесно-детским. Наивно-детски-полуоткрытый рот, устремленные

ввысь глаза величали Угодника, славили восхищенно — «правило веры и образ кротости». Он слышал эти слова, и «образ кротости» для него был ее образ кротости, чистоты, нежной и светлой ласки.

— Я слушал пение, и эта святая песнь, которую я теперь так люблю, пелась как будто ей, этой юнице чистой. Во мне сливались обожествление, восхищение, молитва.., — рассказывал Виктор Алексеевич. — Для меня — «смирением высокая, нищетою богатая»... — это были слова о ней. Кошунство. Но тогда я мог упасть перед ней, ставить ей свечи, петь ей молитвы, тропари, как... Пречистой! Да, одержимость и помутнение, кошунство. Но в этом кошунстве не было ничего греховного. Я пел ей взглядом, себя не помня, продвинулся ближе, расталкивая молящихся, и смотрел на нее из-за шлычков-головок левого клироса. На балах даже простенькие девичьи лица кажутся от огней и возбуждения прелестными. Так и тут: в голубых клубах ладана, в свете паникадил, в пыланье сотен свечей-налепок, в сверкающем золоте окладов, светлые юные глаза сияли светом неземными, и утончившееся лицо казалось иконным ликом, ожившим, очеловечившимся в восторженном моленье. Не девушка, не юница, а... иная, преображенная, новая.

Он неотрывно смотрел, но она не чувствовала его, вся — в ином. И вот, — это бывает между любящими и близкими по духу, — он взглядом проник в нее. Молитвословие пресеклось на миг, и в этот миг она встретила с ним глазами... и сомлела. Показалось ему, будто она хотела вскрикнуть. И она чуть не вскрикнула, — рассказывала потом ему:

— Я всегда следила за молящимися, ждала. И много раз видела, и пряталась за сестер. И тогда я сразу увидела, и, как сходились на величание, молила Владычицу

дать мне силы, уберечь от соблазна, — и не смотреть. И когда уже не могла, — взглянула, и у меня помутилось в голове. Я едва поднялась на солею и благословилась у матушки Руфины уйти из храма, по немощи.

Он видел, как ее повела клирошанка, тут же пошел и сам, но на паперти не было никого, крутило Никольскою метелью.

А наутро накупил гостинцев: тянучек, халвы, заливных орехов, яблочной пастилы, икры и балычка для матушки Агнии, не забыл и фиников, и винных ягод, и синего кувшинного изюму, и приказал отнести в Страстной, передать матушке Агнии, — «от господина, который заходил летом».

— Они были потрясены богатством, — рассказывал Виктор Алексеевич, — и матушка Агния возвела меня в святые, сказала: «Это Господь послал».

Началось разгорание любви. Они виделись теперь каждую всенощную и искали друг друга взглядами. Находили — и не отпускали. Ему нравилось ее робкое смущение, вспыхивающий румянец, загоравшиеся глаза, не осветляющие, не кроткие, а вдруг опалявшие и прятавшиеся в ресницах. Взгляд ее делался тревожней и горячеей. После этих всенощных встреч она молилась до иступления и томилась «мечтанием».

— Я ее развращал невольно, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Она каялась в помыслах, и старенький иеромонах-духовник наложил на нее послушание — по триста земных поклонов, сорокодневие.

Так, в обуревавшем томлении, подошла весна. Хотелось, но не было предлога, как в июле, зайти к матушке Агнии, справиться о девице Королевой. На Страстной неделе, за глубочайшими службами, распаленный весенним зовом, Виктор Алексеевич соблазнялся в храме и соблазнял. Это были томительно-сладостные дни,

воистину — страстные. За Светлой заутреней был восторг непередаваемый: «В эту Святую ночь я только ее и видел!» Они целовались взглядами — сухопылавшими губами. Он едва сдержался, чтобы не пойти в келью матушки Агнии. И опять, как в Николин день, послал с молодцом из магазина заранее заготовленное «подношение», до... цветов. Послал и сластей, и закуску, и даже от Абрикосова шоколадный торт, и высокую «бабу», изукрашенную цукатами и сахарным барашком, и — верх кощунства! — «христосование»: матушке Агнии большое розовое яйцо, фарфоровое, с панорамой «Воскресения», ей — серебряное яичко, от Хлебникова, с крестиком, сердечком и якорьком, на золотой цепочке.

— Представьте тридцатитрехлетнего господина, так подбирающегося к юнице чистой, к хранимому святостью ребенку..., — рассказывал Виктор Алексеевич. — Без думы о последствиях, да. Да еще пасхальное яичко, с «эмблемами»!

В субботу на Святой, в теплый и ясный день, когда он пришел со службы по-праздничному рано, когда в открытые окна живописного старого особнячка, выходящего в зеленевший сад, доносился веселый трезвон уходящей Пасхи и нежное пенье зябликов... — в то время в Москве были еще обширные и заглушенные сады, — подгромыхал извозчик, и у парадного тихо позвонились. Он пошел отпереть — и радостно, и смущенно растерялся. Приехали гости совсем неожиданные: матушка Агния, в ватном салопе, укутанная позимнему, в семь платков, и тоненькая, простенькая черничка Даша. Тут же они ему и поклонились, низко-низко, подобострастно даже. Он не мог ничего сказать, не понимал и не понимал, зачем же они приехали, и отступил перед ними, приглашая рукой — войти.

Матушка Агния, которую молча раскутала черничка, стала искать иконы, посмотрела во все углы, перекрестилась на сад, в окошко, и умиленно пропела:

– А мы к вашей милости, сударь, премного вам благодарны за заботы о нас, сиротах... втайне творите, по слову Божию... спаси вас Господи, Христос Воскресе. Узнали сердцем, Дашенька так учуяла, что от вашей милости... на Светлый день взысканы от вас гостинчиком вашим и приветом... уж так задарены... глазам не верим, а поглядишь...

Он растерянно повторял: «Что вы, что вы», — и увидел благоговеющий взгляд, осиявший его когда-то, милые руки девичьи, вылезавшие сиротливо из коротких рукавчиков черного простого платья совсем монастырского покроя, и ему стало не по себе, — чего-то стыдно. А матушка Агния все тараторила напевно, «человеческая овечка»:

– Примите, милостивец, благословение обители, освященный Артос, всю Святую неделю во храме петомолен, святою водицей окроплен, в болезнях целения подает.., — и она подала с полужемным поклоном что-то завернутое в писчую бумагу и подпечатанное сургучиком. — А это, от нее вот... ее трудами, уж так-то для вас старалась, весь пост все трудилась-вышивала...

И развернула белоснежную салфетку.

– Под образа подзорчик, по голубому полю серебрецом цветочки, а золотцем — пчелки... как живые! Работа-то какая, — загляденье... и колоски золотцем играют... глазок-то какой... прямо, золотой, ручки серебряные. А образов-то у вас, как же... не-ту? — спросила она смущенно, оглядывая углы.

Он смутился и стал говорить невнятное.

– Мне стало стыдно, — рассказывал Виктор Алексеевич, — что я смутил эту добрую старушку

и оробевшую вдруг черничку, светлую. Но я нашелся и объяснил, надумал, что образа там... а тут... отдан мастеру «починить»!.. Так и сказал — «починить», как про сапоги, вместо, хотя бы, «промыть», что ли, — и вот, к Празднику такому... и не вернул!

Матушка Агния посокрушалась, справилась, какой образ и чье будет «благословение», и сказала, как бы в утешение, что и у них тоже, в приделе Анастасии-Узорешительницы, отдали так вот тоже ковчежец, изпод главки, посеребрить-почистить, а мастерок-то пья-аненький, он и позадержал... а время-то самое родильное, зимнее... зачинают-то по весне больше, радости да укрепления приезжают к ним получить, а ковчежца нет... печали-то сколько было. И велела «сероглазой моей» достать подарочек — туфельку-подчасник, вишневого бархата, шитую тонко золотцем: два голубка, целуются. Это его растрогало, такая их простота-невинность: невесты такое дарят или супруга любимому супругу. Он развязно раскланялся, даже расшаркался и сказал: «Вот отлично, это мы вот сюда пристроим», — и приколот уже всунутой в петельку булавкой на стенку к письменному столу. А они стеснительно стояли и робко оглядывали длинные полки с книгами и синие «небесные пути», давно забытые. Он предложил им чаю, но матушка Агния скромно отказалась:

— Мы к вам, сударь, уж поимши чайку поехали... а хозяйюшки-то у вас нету, один живете? Что же вам беспокоиться. Простите, уж мы пойдем. Так вы нас обласкали, уж так приветили... и сиротка моя первого такого человека увидала, молимся за вас, батюшка. А она теперь уж первый голосок на клиросе, не нахвалится матушка Руфина, всякие ей поблажки. Узнала, благодарить мы едем, двадцать копеечек из своих на

извозчика нам дала, как же-с. А уж такая-то бережливая... да и то сказать, какие у нас доходишки, чего сработаете одеялами, вот стееаем, а то все добрые люди жалуют. Обитель у нас необщежительная, а все сам себе припасай. А меня ноги поотпустили, фершалиха наша из обеих натеков повыпустила-облегчила, а то бы и службы великие не выстоять. Вот мы и добрались до вашей милости...»

Она еще долго тараторила. Он все-таки упросил ее присесть и выкушать хоть полрюмочки мадерцы. Она все отказывалась и благодарила, но все-таки присела и выпила мадерцы, хоть и не надо бы. Пригубила и черничка, опустив долгие темные ресницы, и облизнулась совсем по-детски. Он стал настаивать, чтобы она выпила все, до донышка. Она, в смущении, покорилась, щеки ее порозовели, на глазах проступили слезы. Сидела молча и робко оглядывала стены и на них синие, не понятные ей листы. Потом стала смотреть в окошко, на еще жиденскую сирень.

— Сине-льки-то у вас что будет! — радовалась матушка Агния. — Да что же это мы, Дашенька... так и не похристосовались с господином, а он нам... Яичко ваше под образа повесила, под лампадку, молось — и вспомню... А сероглазая-то моя сердечко ваше, и крестик, и цепочку — все на себе носит, на шейку себе повесила, покажь-ка милому барину...

И сама вытянула из-за ворота Дашеньки цепочку и навески. Дашенька сидела, как изваяние, опустив глаза, словно и не о ней речь. Не подымая ресниц, заправила цепочку. А старушка все тараторила:

— Как же, как же... писанки с нами, в плечико поцелуем хоть.., — и она вынула из глубокого кармана розоватые писанки, с выцарапанными добела крестами и буквами «ХВ».

Он принял писанки, приложился к виску матушки Агнии, а она поцеловала его в плечико. Потом, обняв Дашеньку глазами, он взял сомлевшую ее руку и, заглянув в убегающие глаза, трижды крепко поцеловал ее в податливый детский рот. Она шатнулась, и невидящие глаза ее наполнились вдруг слезами.

– Обычай святой, Господний.., — умилилась матушка Агния, не замечавшая ничего.

Он проводил их, запер парадное и высунулся в окно. Дашенька вела матушку Агнию, и он ждал, не оглянется ли она. Она не оглянулась. И когда они доплелись до поворота переулка, он вспомнил, что не дал им денег на извозчика, а у них, пожалуй, и на извозчика нет.

– Вел я себя, как шелкопер, — рассказывал Виктор Алексеевич. — Эти поцелуи я и до сего дня помню. И все вранье, и любованье ее смущением и целомудрием. Пришли, чистые обе, принесли святое, а я... смаковал, в мечтах... И осталось это во мне, греховное, до конца, до самого страшного...

Это «самое страшное» пришло скоро и неожиданно, — «как вихрем налетело». Виктор Алексеевич крепко помнил тот майский день, «неделю о слепом», — «ибо я, именно, был слепой!» — неделю шестую по Пасхе, воскресенье.

С «христосованья» он так и не заходил в Страстной. Пришлось поехать в командировку, случилось где-то крушение, и надо было принимать разные комиссии. Со взбитыми нервами, уставший, вернулся он к себе ранним утром и не узнал квартиры: за недели его отсутствия все распустилось и разрослось в саду, в комнатах потемнело, и сильная, пышная сирень так и ломилась в окна. Он распахнул их с усилием, и так и ткнулся в душистые облака цветов. Застоявшийся

воздух в комнате сменился горько-душистой свежестью, кружившей голову после вагонной ночи. Он выпил крепкого чаю с ромом, с наслаждением закурил и сел на подоконник. Сирень щекотала ему щеки, и ее горьковатый запах вызвал в его душе нежную грусть о ней, о «милой девочке», которую не видал с самого «поцелуя», его обжегшего. И вот, кто-то чуть позвонил в парадное. Он пошел отпереть — и вдруг увидел ее! Он даже отшатнулся, увидав заплаканные, молящие глаза... подумал — «случилось что-то... убежала из монастыря...» — и в нем пробежало искрой, «поганенькой надеждой».

— Именно, подленькой надеждой на ее незащитность, беспомощность. Мелькнуло мне: вот, пришла... к «доброму барину»... И «добрый барин» «достойно» ее принял.

Что же случилось? Обыкновенное, но великое горе для нее: ночью внезапно скончалась матушка Агния. Обливаясь слезами, как ребенок, она лепетала спутанно, словно прося защиты: «Никого теперь... бабушка тихо отошла... склонилась и отошла... — она называла теперь не по-уставному — матушка, а породному, — читала Писание... никого теперь... побежала сказать, утра все дожидалась... бабушка раньше наказывала, чуть что... предупредить... похороны послезавтра... парадные похороны...». Она плакала надрывно, всхлипами, как на ночном бульваре, в мартовскую ночь, потрясшую его «откровением раздавшегося неба». В нем защемило сердце, и он стал утешать ее. А она лепетала, всхлипывая и надрываясь: «Отошла ти-хо... склонилась на бочок...» Он слушал, стоя над ней, обнимая ее за плечи и прижимая к себе, жалея. Он говорил ей совсем невнятное, держал за холодную, трепетную руку и смотрел в залитые слезами,

блистающие глаза ее, ослепленные ярким солнцем, поднявшимся из-за сиреней.

Он усадил ее на диван, говорил нежно, страстно: «Бедная моя, девочка моя... успокойся...», — не помня себя, стал целовать ей руки, жалкие мокрые глаза, прижимая ее к груди. Не помня себя, не понимая, может быть, смешивая его с кем-то, ласково утешающим, она трепетала в рыданиях на его груди. Он целовал ей детский, сомлевший рот, выбившиеся из-под платочка темные кудерьки... Она открыла глаза, по которым застлало тенью, и иступленная его жалость перелилась безвольно в страстное иступление... — в преступление.

Произошло ужасное, чего он хотел и ждал, что связало на счастье и на муки.

Он был на погребении матушки Агнии. В те часы он ничего не помнил, не помнил даже светлого, «как бы ангельского лика» рабы Божией новопреставленной инокини Агнии. Но помнил до мелочей, как через день после похорон, когда Дашенька была уже у него, как вошел в пахнувшие кипарисом и елеем покои настоятельницы, строгой и властной, — кажется, бывшей баронессы, и объявил, что девица Дарья Королева оставляет обитель и будет жить у него. Настоятельница пожевала презрительно губами, отыскивая слова, и ответствовала холодным тоном:

— Вы, сударь, совратили с пути девчонку... сделали гадость, как делают все у вас. Наша обитель..., — и холодные, черные глаза ее вдруг зажглись, — так о й в нашей обители места нет! Но паспорта ее я вам не дам, будет переслано в квартал.

Он подчеркнуто-дерзко поклонился и вышел, провожаемый взглядом испуганных келейниц, которые слушали за дверь. Словом, разыграл оскорбленного за сиротку, как он рассказывал.

Все случилось «как бы в стихийном вихре», как в исступлении. Он тут же поехал к полицмейстеру, который был в приятельских отношениях с покойным его отцом, и объяснился, «как на духу». Бывший кавалерист покрутил молодецкий ус, хлопнул нежданно по коленке и сказал ободряюще:

– Молодцом! И никаких недоразумений. Для девицы опека кончилась и началось попечительство... Девица может, если желает того, избрать себе попечителем кого угодно. А раз избирает вас, могу только приветствовать. А паспорт перешлем вам через квартал.

Так завершилась первая половина жизни Виктора Алексеевича.

Содержание

Том первый

Откровение	5
На перепутье	15
Искушение	23
Грехопадение	34
Темное счастье	48
Очарование	59
Отпущение	70
Соблазн	82
Прозрение	90
Наваждение	97
Прельщение	108
Восхищение	114
Знак	126
Злое обстояние	137
Шампанское	146
Метель	156
Метельный сон	166
Обольщение	178
Метанье	184
Дьявольское поспешение	195
Помрачение	208

Знамение	218
Отчаяние	230
Иступление	242
«Прелесть»	254
Последнее испытание.....	266
Маскарад.....	277
Вразумление	288
Крестный сон	299
Послушание.....	309
Попущение.....	320
Преображение.....	325
Исход.....	334

Том второй

Благовестие	349
Знаменательная встреча	356
Уютово	365
Разговор в сумерках	371
Благословенное утро.....	377
Святитель.....	380
Откровение.....	387
Миг созерцания	389
Высшая гармония	394
Земной рай	396
Псалмы.....	404
Вещий рой	409
Делание	414

Аллилуия	418
Раба Божия Ольга.....	423
Романтика.....	426
В дыму кадильном.....	431
Жизнь жительствоует	434
Поднятие икон	441
Испытание	447
Проявление.....	452
Поклон	455
Явление	459
Еще «явление»	466
Спокойствие	470
Почему?.....	473
Движения души.....	478
Напутствие.....	483
«Взрыв»	489
В опьянении	492
У колыбели	495
Воскресение из небытия.....	499
Разряженье	505
Свет из тьмы	509
Преодоление.....	514
Побеждающая	519
Постижение	523
Чудесное.....	526
Микола Строгой.....	530
«Из уст младенцев...»	537

Тлен	544
Круженье.....	549
К Николе Мокрому.....	554
Скращение путей	559
Чистейшее.....	562
Испытание рассудка	567
Смятенье	571
Сказка о самоцветах.....	577
«Пришедше на запад солнца...»	580
Новоселье	583
Высота, чистота, недостижимость.....	586
Чудесный образ.....	591
«Благословляю вас, леса...».....	593
Пути в небе	596